

ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ

ГОФМАН

ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Эксклюзивная классика (АСТ)

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Житейские воззрения кота Мурра

«Издательство АСТ»
1819

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Гофман Э.

Житейские воззрения кота Мурра / Э. Гофман — «Издательство АСТ», 1819 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-160923-8

Ученый кот Мурр, потомок Кота в сапогах, окуная пушистую лапку в чернила, пишет о своей нелегкой кошачьей жизни: о том, как рос, влюблялся, дрался на дуэлях. Попивая селедочный рассол, он рассуждает в своих записках о науке, слагает сонеты и отпускает саркастические замечания в адрес людей. Из-за ошибки при печати история кота-писателя причудливым образом переплетается с жизнеописанием талантливого капельмейстера Иоганнеса Крейслера, странствующего от одного княжеского двора к другому. Фрагменты его биографии время от времени перебивают откровения Мурра. «Житейские воззрения кота Мурра» – сатирический роман, считающийся вершиной творчества писателя, сочетающий в себе романтическую атмосферу, едкую сатиру на современную автору Германию и размышления об искусстве.

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-160923-8

© Гофман Э., 1819
© Издательство АСТ, 1819

Содержание

Предисловие немецкого издателя 7
Предисловие автора 9
Предисловие, уничтоженное автором 10
Том первый 11
Раздел первый 11
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Эрнст Теодор Амадей Гофман
Житейские воззрения кота Мурра

© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *

Э. Т. А. ГОФМАН

ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

Предисловие немецкого издателя

Никакая книга не нуждается так в предисловии, как предлагаемая, без него будет непонятно, каким удивительным образом книга эта приняла такой странный вид – вид смеси.

Потому издатель просит благосклонного читателя непременно прочесть предисловие.

У упомянутого издателя есть друг, с которым он живет душа в душу, которого он знает, как самого себя. Этот-то вот друг сказал ему однажды приблизительно следующее:

«Ты, любезный, напечатал уже много книг, и у тебя много знакомых среди издателей; тебе, следовательно, легко будет найти кого-нибудь, кто по твоей рекомендации напечатает некоторую вещь, написанную недавно молодым автором блестящего таланта и отличнейших способностей. Обрати на него свое внимание, он этого вполне заслуживает».

Издатель обещал сделать для коллеги-писателя все возможное. Его немного удивило, впрочем, одно обстоятельство, именно признание друга, что рукопись принадлежит коту по прозванию Мурр и содержит в себе житейские взгляды этого последнего; слово, однако, было дано, и, так как вступление показалось издателю написанным очень хорошим стилем, он тотчас же с рукописью в кармане отправился на улицу Unter den Linden к господину Дюммлеру и предложил ему издание книги, написанной котом.

Господин Дюммлер подумал, что до сих пор среди авторов, которых он печатал, не было еще ни одного кота; кроме того, насколько ему было известно, никто из его почтенных коллег не имел до сих пор никакого дела с писателями такого рода, тем не менее он решился сделать попытку.

Печатание началось, и издателю были представлены первые пробные листы. В каком же он был ужасе, когда увидел, что история Мурра то здесь, то там прерывается и в промежутках в ней сделаны вставки, относящиеся к другой книге и содержащие в себе биографию капельмейстера Иоганна Крейслера.

После тщательных расспросов и расследований издатель узнал наконец следующее. Когда кот Мурр излагал свое мировоззрение, он без всякой церемонии разорвал одну книгу, найденную им у своего господина и, беззаботно подкладывал ее листы под свою рукопись, употребляя их в качестве пропускной бумаги. Листы эти остались среди листов рукописи и по недосмотру были перепечатаны как необходимое к ним дополнение.

С прискорбием и грустью издатель должен сознаться, что спутанная смесь совершенно разнородного материала появилась в свет в таком виде лишь благодаря его собственному легкомыслию: он должен был внимательно просмотреть рукопись кота, прежде чем отдавать ее в печать, тем не менее для него еще осталось некоторое утешение.

Во-первых, благосклонный читатель легко выйдет из затруднения, если он снисходительно пожелает обращать внимание на поставленные в скобках знаки: *«Мак. л.»* («Макулатурные листы») и *«М. прод.»* («Мурр продолжает»); затем, так как никто ничего не знает о разорванной книге, можно заключить с высокой степенью вероятности, что она никогда не была в продаже. Друзьям капельмейстера, по крайней мере, должно быть приятно, что благодаря литературному вандализму кота они получат некоторые сведения о необычайных приключениях этого – в своем роде очень достопримечательного – мужа.

Издатель надеется на милостивое прощение.

Верно, наконец, и то, что авторы самыми смелыми своими мыслями, самыми удачными оборотами нередко бывают обязаны своим снисходительным наборщикам, содействующим полету их идей посредством так называемых опечаток. Так, например, пишущий эти строки говорит во второй части своих ноктюрнов об обширной рощице (Boskett), находящейся в саду. Это показалось наборщику недостаточно гениальным, и он вместо слова Boskett («рощица») поставил слово Caskett («фуражка»). В рассказе Fraulein Scudery наборщик лукавым образом

представляет упомянутую фрейлейн не в черном платье (Robe), а в черном цвете (Farbe) и так далее.

Но каждому свое! Ни кот Мурр, ни неизвестный биограф капельмейстера Крейслера не должны быть воронами в павлиньих перьях, и потому издатель настоятельно просит благосклонного читателя исправить опечатки, прежде чем он примется за чтение этого произведения, дабы он не думал о каждом из двух авторов ни лучше, ни хуже, чем они заслуживают. В заключение издатель берет на себя смелость уверить, что он лично познакомился с котом Мурром и нашел в нем особу приятного, кроткого нрава.

Берлин, ноябрь 1819. Э. Т. А. Гофман

Предисловие автора

Робко, с трепещущим сердцем я передаю миру эти повествования о моей жизни, страданиях, надеждах, стремлениях, вылившиеся из тайников души моей в сладостные часы досуга и поэтического вдохновения.

Устою ли пред строгим судом критики? Но ведь я писал для вас, о чувствительные души, о чистые, детские натуры, о родственные мне, верные сердца, и одна-единственная слезинка из ваших глаз утешит меня, исцелит рану, нанесенную холодным осуждением бесчувственных рецензентов.

Берлин, май, года 18…Мурр (Etudiant en belles lettres)[1]

[1] Новичок в литературе*(фр.)*.

Предисловие, уничтоженное автором

Со спокойной уверенностью, составляющей прирожденную черту истинного гения, я передаю миру мою биографию для того, чтобы он понял, как доходят до положения зрелого кота, чтобы он познал мои превосходные качества во всем их объеме, дивился мне, любил меня, ценил, почитал и немного обожал. Если кто-нибудь окажется настолько дерзким, что решится подвергать сомнению необычайные достоинства этой замечательной книги, пусть он помнит, что он имеет дело с котом, в распоряжении у которого есть ум, рассудительность и острые когти.

Берлин, май, года 18…Мурр (Homme de lettres très renommé)[2]

P. S. Какая досада! И то предисловие, которое должно было подвергнуться уничтожению, оказалось напечатанным!

Ничего не остается, как просить благосклонного читателя не относиться слишком строго к несколько гордому тону этого предисловия и принять в расчет, что, если бы взять какое-нибудь умилительное предисловие другого чувствительного автора и перевести его на язык затаенных мнений этого последнего, оно немногим бы отличалось от вышеупомянутого.

Издатель

[2] Писатель, достигший большой известности*(фр.)*.

Том первый

Раздел первый
Ощущения бытия. Месяцы юности

Что это за прекрасная, возвышенная, чудная вещь – жизнь!

«О ты, сладкая привычка существования!» – восклицает известный нидерландец, герой трагедии.

Точно так же восклицаю и я, но не как тот герой в скорбную минуту расставания с жизнью – о, нет! – именно в тот момент, когда я полон восторженного сознания, что я только что всецело сроднился с этой сладостной привычкой и отнюдь не намерен когда-либо с ней расставаться.

Я разумею, точнее говоря, что духовная сила – неизвестная власть или, как там еще можно назвать, управляющий нами принцип, в известном смысле насильственно навязавший мне упомянутую привычку, – должна была иметь гораздо более худшие намерения, чем тот ласковый человек, к которому я поступил в услужение и который, подставив мне под нос блюдо с рыбой, не отдернет его в ту самую минуту, когда я только что начну лакомиться.

О природа, святая, величественная природа! Как проникнута вся моя взволнованная грудь твоей негой, твоим очарованием, как обвевает меня твое таинственное, полное шепота, дыхание! Ночь несколько свежа, и я хотел бы… Впрочем, ни один читатель, прочтет или не прочтет он эти строки, не будет в состоянии понять моего высокого вдохновения, потому что он не знает той высокой точки зрения, до которой я воспарил! Вернее было бы сказать «вскарабкался», но ведь никакой поэт не говорит о своих ногах, хотя бы у него их было четыре, как у меня; поэт говорит только о своих крыльях, если даже они не выросли у него от природы, а являются ухищрениями искусного механика. Надо мной высится глубокий купол звездного неба, полная луна бросает на землю свои искристые лучи и в огненном, серебряном блеске стоят вокруг кровли и башни! Все больше и больше замирает внизу на улицах шумная суетня, тише и тише становится ночь – мимо плывут облачка, – одинокая голубка, воркуя и изливая грусть в боязливых любовных жалобах, вьется вокруг колокольни! О, если бы прекрасная малютка пожелала приблизиться ко мне! Я чувствую, что я полон каким-то чудным волнением, с неудержимой силой меня охватывает какой-то мечтательный аппетит! О, приди ко мне, прелестная чаровница! Я хотел бы прижать тебя к своему больному сердцу и никогда не отпускать от себя! Ха, вон летит она в голубятню, коварная, и оставляет меня здесь, на крыше, тоскующего и безнадежного! Как редко, однако, можно встретить истинную симпатию сердец в это жалкое, черствое, чуждое любви время!

Разве в вертикальном хождении на двух ногах заключается какое-нибудь величие, что порода, называющая себя людьми, изъявляет притязание на господство над всеми нами, над существами, которые с более надежной устойчивостью ходят на четырех ногах? Но, я знаю, они воображают, что это величие заключается в том, что должно находиться в их головах и что они называют разумом. Не могу себе составить ясного представления, что это собственно за вещь, но, во всяком случае, я не желал бы поменяться ролями ни с каким человеком, насколько я могу – по словам моего господина и покровителя – заключить, что под разумом нужно понимать способность поступать сознательно и не делать никаких глупостей. Вообще я думаю, что сознание есть дело привычки; начинаешь жить и проходишь путь жизни, но как – этого никто не знает. По крайней мере, так было со мной, и, сколько мне известно, ни один человек на свете не знает подробности своего рождения по личному опыту, а только по традиции, которая

к тому же часто бывает крайне неверна. Города спорят между собой о месте рождения знаменитого мужа; точно так же останется навсегда неизвестным – потому что я сам не знаю ничего в точности, – в подвале, или на чердаке, или в дровяном сарае увидел я свет или, скорее, не увидел, а, появившись на свет, был увиден моей милой мамашей. Потому что, как свойственно нашей породе, глаза мои были покрыты пеленой. Как в тумане припоминаю я резко раздававшиеся ворчливые звуки, которые я испускаю почти против своей воли, если мной овладевает гнев. Яснее и почти с полным уже сознанием ощутил я себя в каком-то чрезвычайно узком вместилище с мягкими стенами; я едва мог дышать и, полный скорби и тоски, испускал жалобные крики. Что-то такое опустилось в мое помещение и весьма нелюбезно схватило меня за живот; это дало мне повод впервые проявить дивную способность ощущать и действовать, дарованную мне природой. Из передних своих лапок, покрытых роскошным мехом, я быстро выпустил острые, гибкие когти и вцепился ими в ту вещь, которая схватила меня и которая, как я узнал впоследствии, была не чем иным, как человеческой рукой. Эта рука вытащила меня, однако, и отшвырнула, после чего я тотчас почувствовал два сильных удара по обеим сторонам моего лица, на котором теперь красуется, смею сказать, великолепная борода. Насколько могу теперь судить, рука, оскорбленная игрой мускулов, управляющих моими лапками, отвесила мне две пощечины, впервые я узнал по опыту моральную причину и следствие, и именно моральный инстинкт побудил меня спрятать когти почти так же быстро, как я их выпустил. Впоследствии моя способность быстро прятать когти была вполне справедливо оценена, как проявление любезности и, так сказать, bonhomie[3], и я получил кличку «бархатные лапки».

Как сказано, рука швырнула меня на землю. Но почти тотчас же она опять схватила меня за голову и пригнула ее вниз, так что я своей мордочкой попал в жидкость, которую тотчас же начал лакать, что возбудило во мне особое внутреннее довольство; почему я так скоро догадался, что нужно делать, решительно не понимаю, вероятно, это был физический инстинкт. Теперь я знаю, что напиток, который я вкушал, был сладким молоком. Я чувствовал голод и, пока пил, насытился. Таким-то образом началось мое физическое развитие вслед за моральным.

Снова, но нежнее, чем прежде, меня взяли две руки и положили на теплую, мягкую постель. Все отраднее и отраднее становилось у меня на душе, и я начал проявлять свое внутреннее довольство посредством особых свойственных только моей породе звуков, к которым люди весьма удачно применяют выражение «мурлыкать». С этой минуты я стал двигаться вперед в своем светском образовании поистине гигантскими шагами. Какое преимущество, какой чудный дар неба – способность звуками и жестами выражать свое душевное благополучие! Сперва я только мурлыкал, потом у меня проявился неподражаемый талант придавать своему хвосту самые живописные позы, потом – волшебный дар посредством единственного маленького слова «мяу» выражать радость и скорбь, негу и восторг, тоску и отчаяние – словом, все ощущения и страсти в разнообразнейших их степенях. Что значит человеческий язык в сравнении с этим простейшим способом быть понятным для других!

Но дальше будем продолжать достопамятную, поучительную историю моей юности, столь богатой событиями!

Я очнулся от глубокого сна, я был залит ослепительным блеском, устрашившим меня, спала пелена с глаз моих: я прозрел!

Прежде чем я мог свыкнуться с ярким светом, в особенности же с пестрой картиной, представшей моим глазам, я должен был несколько раз подряд чихнуть; но вскоре после этого зрение мое начало действовать так прекрасно, как будто бы я был зрячим уже давным-давно.

О Зрение! Ты удивительная привычка! Без тебя трудно было бы жить на белом свете! Счастливы те высокоодаренные существа, которым зрение дается так же легко, как мне.

---

[3] Добродушие *(фр.)*.

Не могу, впрочем, отрицать, что я впал в некоторое беспокойство и испустил жалобный вопль, такой же, как во время своего пребывания в тесном помещении. Тотчас же показался маленький, худой, старый человек, который навсегда останется для меня незабвенным, потому что, несмотря на мои обширные знакомства, я никогда не видал ни одной личности, равной ему или хотя бы способной идти с ним в сравнение. Среди существ моей породы случается часто, что та или другая зрелая особа обладает белым или черным мехом с пятнышками, но чрезвычайно редко можно найти кого-нибудь, кто бы имел белые, как снег, волосы на голове и в то же время черные брови цвета воронова крыла – как раз такое сочетание цветов было у моего воспитателя. Дома он носил короткий, ярко-желтый шлафрок, наводивший на меня ужас, благодаря чему, как только мой господин приближался ко мне, я кое-как, насколько мне позволяла моя беспомощность, сползал с белой подушки, на которой лежал. Господин мой нагибался ко мне с ужимкой, казавшейся мне дружеской и внушавшей доверие. Он брал меня на руки, и я благоразумно воздерживался от игры мускулов, управляющих когтями, – идеи «царапать» и «получать удары» естественно соединялись в моем уме; и на самом деле, у моего покровителя всегда были хорошие намерения, потому что он ставил меня перед блюдечком со сладким молоком, которое я жадно лакал, чем он немало забавлялся. Он много говорил со мной, но я его не понимал, потому что тогда мне, неопытному молоденькому котенку, было еще чуждо понимание человеческой речи. Вообще я мало что могу сказать о моем покровителе. Но не подлежит никакому сомнению, что он должен был иметь большие познания в разных отраслях наук и искусств, потому что все, приходившие к нему (среди них я заметил некоторых людей, у которых на груди были крест или звезда на том самом месте, где природа наделила меня желтым пятнышком)… Итак, все, приходившие к нему, обращались с ним необычайно учтиво, иногда даже с оттенком боязливого преклонения, как впоследствии я с пуделем Скарамушем, и называли его не иначе, как «мой достопочтенный, мой драгоценный, мой неоцененный мейстер Абрагам!» Только две особы называли его просто «любезный» – высокий тонкий господин в светло-зеленых панталонах и белых шелковых чулках и маленькая, чрезвычайно плотная госпожа с черными волосами и множеством колец на всех пальцах. Господин, должно быть, был князем, госпожа – еврейской дамой.

Но, несмотря на своих знатных посетителей, мейстер Абрагам жил в маленькой комнатке, расположенной очень высоко, так что мне чрезвычайно удобно было делать через окно первые свои прогулки на крышу и на чердак.

Да, не иначе я рожден на чердаке! Что подвал, что дровяной сарай, родина моя – чердак! Климат, отечество, нравы, обычаи, как непогасимо ваше влияние! Вы, и только вы определяете внешнее и внутреннее развитие гражданина! Откуда во мне это величие духа, эта любовь к возвышенному? Откуда эта редкостная, чудная способность вскарабкиваться вверх, это завидное уменье совершать самые смелые, гениальные прыжки? Ха! Сладкое и грустное чувство наполняет мою грудь! Властно подымается во мне порыв к моему родному чердаку! Тебе посвящаю я эти слезы, о дорогая родина, тебе это грустное, но торжествующее «Мяу!». Тебе во славу совершаю я эти прыжки, эти скачки, свидетельствующие мою добродетель и патриотическое мужество! Ты, о чердак мой родимый, расточаешь мне щедрой рукой мышек в большом количестве, в твоих пределах я могу иногда стянуть из дымовой трубы кое-какие колбасы или куски сала, здесь же я ловлю воробьев, а порой даже подстерегаю голубя. «О, родина, сильна к тебе любовь!»

Но о моем воспитании, о первых…

(Мак. л.) …а помните ли вы, всемилостивейший государь, ту страшную бурю, которая застигла адвоката в то время, как он шел ночью через Пон-Неф, и сбросила в Сену его фуражку? Нечто подобное есть у Рабле, но, собственно, ведь не буря сорвала фуражку с головы адвоката, он крепко держал ее своей рукой, предоставив плащ игре ветра; это был гренадер, который с громким возгласом: «Ужасный ветер, милостивый государь!» – проскакал мимо

и тотчас сорвал с его парика прекрасную касторовую шляпу; и не касторовая шляпа полетела в Сену, а, напротив, гадкая фуражка солдата под суровым ветром обрела в волнах влажную смерть. Вы знаете все, милостивейший государь, также, что в то мгновение, когда адвокат, совсем пораженный, стоял на мосту, другой солдат с тем же возгласом: «Ужасный ветер, милостивый государь!» – проскакал мимо и, схватив плащ адвоката за воротник, сорвал его с плеч, и что тотчас же третий солдат проскакал мимо с тем же возгласом: «Ужасный ветер, милостивый государь!» – и вырвал у него из рук испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат закричал изо всех сил, бросил вдогонку последнему бездельнику свой парик и потом с обнаженной головой, без шинели и без трости, отправился дальше – составить самое достопримечательное завещание и узнать самое необычайное приключение. Вы знаете все это, всемилостивейший государь?

– Я решительно ничего не знаю, – возразил князь, после того как я кончил, – и вообще я не понимаю, каким образом вы можете мне, мейстер Абрагам, болтать такой вздор? Конечно, я знаю Пон-Неф, он находится в Париже. Я никогда не ходил по нем пешком, зато часто ездил, как прилично моему рангу. Адвоката Рабле я никогда не видывал и никогда в жизни не думал о солдатских проделках. В молодых годах, когда я командовал своим полком, я каждую неделю заставлял давать фухтедей всем юнкерам за проказы, которые они сделали или должны были сделать; что касается рядовых солдат, их наказывать было дело поручиков, что они, следуя моему примеру, и делали каждую субботу, так что по воскресеньям не было во всем полку ни одного юнкера и ни одного рядового, который бы не получил надлежащего количества побоев. Следствием этого было то, что весь полк, находившийся под моей командой, вместе с моралью, вбитой в него, приобрел привычку к побоям, еще ни разу не видав неприятеля. Вы меня понимаете теперь, мейстер Абрагам? Вразумите же вы меня ради бога, чего хотите вы с этой бурею, с этим адвокатом Рабле, ограбленным на Пон-Неф? Чем можете вы извинить то обстоятельство, что празднество превратилось в дикую суматоху, что огненный шар попал мне в тупей, что мой возлюбленный сын очутился в бассейне, где его с ног до головы обрызгали дельфины, а принцесса без покрывала и с подобранным платьем, как Аталанта, пробежала через парк, что, кроме того… но кто пересчитает все несчастные случаи этой роковой ночи? Ну-с, что же вы скажете, мейстер Абрагам?

– Милостивейший государь, – ответил я, смиренно склоняясь, – что же было виной всех несчастий, как не эта страшная буря, которая разразилась именно тогда, когда все шло прекрасно? Разве я могу повелевать стихиями? Не испытал ли я сам при этом большего несчастия, не потерял ли я тогда шляпу, кафтан и плащ, подобно тому адвокату, которого я покорнейше прошу не смешивать с знаменитым французским писателем Рабле? Разве я не…

– Послушай, – прервал мейстера Абрагама Крейслер, – еще теперь, после того как уже прошло столько времени, много говорят о празднестве, бывшем в день рождения княгини, о празднестве, во время которого ты был распорядителем увеселений. Тут скрывалась какая-то темная тайна; вероятно, ты, по своему обыкновению, натворил порядком всяких чудачеств. Тебя народ и раньше считал каким-то чародеем; этот праздник еще более усилил такое мнение об тебе. Ну, расскажи же мне подробно все, как было. Ты ведь знаешь, я тогда уезжал…

– Именно то обстоятельство, – прервал мейстер Абрагам слова своего друга, – именно то обстоятельство, что тебя здесь не было, что ты, гонимый бог знает какими адскими фуриями, как безумный, умчался отсюда, заставило и меня быть необузданным: я призвал все стихии на помощь себе, чтобы они нарушили празднество, разрывавшее мое сердце, потому что ты, истинный герой его, отсутствовал. И как сложилось все торжество! Сперва оно тянулось вяло и бесцветно, а потом над людьми, нам дорогими, разразилась беда: ими овладели тоскливые, исполненные муки сны, скорбь, ужас! Знай же теперь, Иоганн, я глубоко заглянул в твою душу и увидел там твою грозную тайну, увидел этот зияющий вулкан, каждую минуту готовый вспыхнуть гибельным пламенем, беспощадно уничтожая все окружающее! Но есть в

нашей душе вещи, о которых не говорят даже с самыми близкими друзьями. Потому-то я скрыл от тебя все, что я увидел в твоей душе. Но посредством этого празднества, тайный, скрытый смысл которого относился не к княгине, а к другой любимой особе и к тебе самому, я захотел насильственно овладеть всем твоим «я», разбудить в тебе сокровенные муки, чтоб они, как восставшие от сна фурии, с удвоенной силой терзали твою грудь. Как смертельно больному, тебе нужно было лекарство, взятое из самого Оркуса. Разумный врач никогда не колеблется прибегать к нему во время подобного кризиса: или полное выздоровление, или смерть! Знай, Иоганн, именины княгини совпадают с именинами Юлии; последняя так же, как и первая, носит еще имя Мария.

– Ага! – воскликнул Крейслер, вскочив с пылающим взглядом. – Кто дал тебе, мейстер, право и власть играть мной так нагло и дерзко? Не вестник ли ты самого Рока, что так проникаешь в мою душу?

– Неукротимый безумец! – спокойно возразил мейстер Абрагам. – Когда же, наконец, опустошительный пожар, сжигающий грудь твою, превратится в чистое нефтяное пламя, питаемое твоей глубокой любовью к искусству, ко всему возвышенному, прекрасному? Ты просишь меня подробно описать роковое празднество. Слушай же меня спокойно, а если ты настолько ослабел духом, что не можешь овладеть собой, я оставлю тебя.

– Рассказывай, – проговорил Крейслер, почти задыхаясь.

Он опять сел и обеими руками закрыл лицо.

– Итак, – начал мейстер Абрагам, мгновенно принимая веселый тон, – я не буду утомлять тебя, любезный Иоганн, описанием всех остроумных распоряжений, созданных главным образом изобретательным гением князя. Так как праздник начался поздно вечером, само собой разумеется, что весь прекрасный парк, окружающий увеселительный замок, был освещен. Я постарался при этом достигнуть необыкновенных эффектов, что, впрочем, удалось лишь отчасти, так как по настоятельному приказанию князя во всех аллеях должен был гореть вензель княгини рядом с княжеским гербом; обе фигуры состояли из разноцветных фонариков, развешанных на больших черных досках. Но, будучи прибиты к высоким столбам, эти доски очень походили на иллюминованные объявления, гласящие: «Здесь курить воспрещается» или «Воспрещается объезжать таможню». Главным пунктом во время увеселений должен был явиться известный тебе театр, устроенный из кустов и искусственных развалин в самой середине парка. В этом театре городские актеры должны были представить что-нибудь аллегорическое, слишком пошловатое, чтобы произвести какое-нибудь особенное впечатление. Театр находился довольно далеко от замка. Сообразно с поэтической мыслью князя, шествие его фамилии должен был озарять двумя факелами парящий в воздухе гений, других огней не должны были зажигать, пока князь со своей фамилией и свитой не займет место, – тогда весь театр должен был моментально озариться ярким светом. Таким образом, дорога между театром и замком оставалась совершенно охваченной ночным мраком. Напрасно я представлял все трудности, сопряженные с длинным расстоянием между этими двумя пунктами. Князь стоял на своем: верно он вычитал что-нибудь подобное в «Fêtes de Versailles[4]»; к тому же, поэтическая мысль вполне согласовалась с его собственной фантазией, и потому он дорожил ей, как родным детищем. Чтобы избежать какого-либо незаслуженного упрека, я предоставил гения с двумя факелами в распоряжение городского театрального машиниста.

Когда, после всех этих приготовлений, княжеская чета, сопровождаемая свитой, вышла из дверей салона, с кровли увеселительного замка был спущен маленький толстощекий человечек. Он был одет в камзол с галунами и держал в своих ручонках два горящие факела. Однако он был тяжел и едва только проследовал двадцать шагов, машина остановилась, лучезарный гений княжеской фамилии беспомощно повис в воздухе, рабочие потянули с удвоенной силой,

[4] «Версальских празднествах» *(фр.)*.

– и он перекувырнулся вверх ногами. Восковые свечи также перевернулись на бок, и с них стали капать горячие капли. Первая капля упала на самого князя, но он со стоическим спокойствием скрыл боль, хотя походка его несколько утратила свою величественность и сделалась более торопливой. Гений продолжал висеть вверх ногами и вниз головой, витая над группой, которую образовали из себя гофмаршал, камер-юнкера и другие придворные чины, и роняя пылающий дождь кому на голову, кому на нос. Выказать свою боль и таким образом расстроить веселый праздник значило бы нарушить достодолжную респектабельность, и потому не безотрадно было смотреть, как эти несчастные – целая когорта стоически-мужественных Сцевол – беззвучно и безмолвно шли вперед, могучим усилием побеждая свою боль, не смея испустить вздоха и даже принуждая себя к улыбке, мрачной, как сам Оркус. А литавры звучали, трубы гремели, и сотни голосов испускали клики: «Виват, виват!» Необычайный контраст между выражением лиц этой группы Лаокоона и всеобщим радостным ликованием придавал трагическому пафосу всей сцены величие, почти невообразимое.

Толстому, старому гофмаршалу стало наконец невмочь: когда горячая капля упала ему прямо на щеку, в бешенстве отчаяния он отскочил в сторону, запутался в веревке, которая была проведена к машине, и с громким возгласом: «Черт бы побрал!» – упал на землю. В тот же момент и роль веселого пажа была сыграна. Увесистый гофмаршал своей тяжестью совлек его вниз, и он рухнул как раз посреди свиты, с громким криком разбежавшейся в разные стороны. Факелы погасли, воцарилась непроглядная мгла. Все это произошло перед самым театром. Я нарочно несколько минут не приставлял фитиль, который должен был сразу воспламенить плошки и лампы, и дал время всей компании заплутать среди деревьев и кустов. «Огня, огня!» – закричал князь наподобие короля в «Гамлете». «Огня, огня!» – вторила масса хриплых голосов. Когда зажглись огни, разбежавшаяся толпа была похожа на разбитое войско, которое с трудом, еле-еле собирается в одно место. Обер-камергер выказал себя человеком необычайно тактичным, обладающим большим присутствием духа: благодаря его стараниям, через несколько минут порядок был восстановлен. Князь с самыми своими близкими взошел на увенчанный цветами трон, который был воздвигнут на середине площади, занимаемой зрителями. Едва только княжеская чета уселась, на нее, благодаря предусмотрительности и находчивости машиниста, посыпалась целая масса цветов. Однако мрачному Року угодно было, чтобы большая красная лилия упала князю прямо на нос, все лицо его покрылось ее огнецветной пылью и приняло выражение чрезвычайно величественное, совершенно подходящее к торжественности празднества.

– Это слишком, это слишком! – воскликнул Крейслер, разражаясь оглушительным хохотом, от которого задрожали стены.

– Не смейся так, – проговорил мейстер Абрагам. – Я тоже смеялся в ту ночь сильней, чем когда-либо, я чувствовал себя расположенным ко всяким безумным выходкам, подобно волшебному духу Троллю, я хотел еще больше все перепутать, привести все в таинственный беспорядок. Но тем сильнее вонзились в мою собственную грудь стрелы, которые я направлял на других… Я скажу тебе, в чем дело. Момент жалкого цветочного дождя я выбрал для того, чтобы невидимой нитью, наподобие электрического тока связующей в одно целое все празднество, соединить всех присутствующих со своим таинственным замыслом и потрясти их до глубины души. Не прерывай меня, Иоганн, слушай спокойно! Юлия сидела рядом с принцессой, позади княгини, в стороне. Ни с нее, ни с принцессы я не спускал глаз. Едва только умолкли трубы и литавры, как на колени Юлии упал распускающийся розан, спрятанный в букете ночных фиалок, и, как сладостное дуновение ночного ветра, полились звуки твоей дивной, за душу берущей, мелодии: «Mi lagnerò tacendo della mia sorte amara»[5]. Когда раздалась эта песня, – ее играли на английских рожках совсем вдалеке от толпы четыре наших лучших музыканта –

[5] «Я буду молча сетовать на горькую судьбу свою» *(ит.)*.

с уст Юлии сорвалось легкое восклицание, она прижала букет к груди, и я ясно слышал, как она тихо сказала принцессе:

– Он, наверное, опять здесь!

Принцесса порывисто обняла Юлию и громко воскликнула:

– Нет, нет, о, нет, не может быть!

После этого князь повернул к ним свое пылающее огненное лицо и бросил гневное «Silence!»[6].

Быть может, он и не питал особенного гнева к этому милому ребенку, но дивные румяна – лучших румян нельзя было придумать никакому оперному tiranno ingrato[7] – действительно придавали ему вид нескончаемого, неумолимого гнева, так что все трогательные речи, все нежнейшие ситуации, долженствовавшие аллегорически представлять семейное счастье на троне, совершенно теряли свой эффект; актеры и зрители были в немалом затруднении. Больше того, когда князь в некоторых сценах, отмеченных для такой надобности красным карандашом в экземпляре книги, которую он держал в руках, наклонялся, чтобы поцеловать руку княгини, и отирал платком слезы со своих глаз, – это имело вид такой обиды, такого огорчения, что камергеры, услужливо стоявшие с обеих сторон, шептали друг другу:

– Боже мой, что это сделалось с нашим князем!

Нужно тебе добавить, Иоганн, что в то время, как актеры разыгрывали на подмостках свою глупейшую пьесу, я посредством магического зеркала и других ухищрений представлял в воздухе игру духов для прославления небесного создания, обворожительной Юлии; одна за другой лились мелодии, созданные тобой в минуты высокого вдохновения, и то вдали, то вблизи раздавался время от времени боязливый, полный предчувствия возглас, точно зов духа: «Юлия!» Но тебя не было там – тебя не было, друг мой! И хотя по окончании пьесы я должен был похвалить своего Ариэля, как шекспировский Просперо хвалит своего, хотя я должен был признаться, что он исполнил свою обязанность великолепно, тем не менее все, что было задумано так остроумно, показалось мне плоским и бледным.

Юлия со свойственным ей тактом все поняла. Но, по-видимому, она отнеслась ко всему этому, как к обольстительному сну, не имеющему прочной связи с трезвой действительностью. Принцесса, напротив, была взволнована до глубины души. Рука об руку с Юлией она бродила по освещенным аллеям парка, в то время как весь двор находился в павильоне, где в виде угощения подавали мороженое и прохладительные напитки. В этот момент я приготовил самый решительный удар – и опять тебя недоставало, Иоганн, тебя не было! Я метался кругом, исполненный гнева и негодования; я осматривал, хорошо ли сделаны все приготовления для большого фейерверка, назначенного для окончания празднества, как вдруг, посмотревши на небо, я заметил в мерцании ночи над далеким Гейерштейном маленькое красноватое облачко, постоянно предвещающее грозу, которая надвигается медленно, с тем, чтобы потом моментально разразиться с ужасающей силой. Как тебе известно, я сразу могу определить момент этого взрыва, смотря по положению облака. Он должен был последовать менее чем через час. Я решил торговаться с фейерверком. В то же мгновение я услыхал, что мой Ариэль начал фантасмагорию, которая должна была решить все: в глубине парка в маленькой капелле раздался хор, певший твою Ave maris Stella[8]. Я поспешил туда. Юлия и принцесса стояли коленопреклоненные около молитвенной скамьи, находящейся перед капеллой. Только что я пришел туда, как вдруг… Но тебя не было там, Иоганн. Не требуй от меня рассказа о всем, что произошло. Ах, без результатов остался лучший подвиг моего искусства, и я узнал тайну, о которой даже, глупец, и не подозревал.

---

[6] «Тише!»*(фр.)*

[7] Жестокий тиран*(ит.)*.

[8] Привет тебе, звезда морей (*ит.*).

– Говори до конца! – воскликнул Крейслер. – Рассказывай все, все, как было!

– Нет, – возразил мейстер Абрагам, – тебе, Иоганн, это не принесет никакой пользы, а мне растерзает все сердце, если я еще раз должен буду припомнить, как собственные мои духи нагнали на меня страх и ужас! Облако… счастливая мысль! «Пусть же все, – дико воскликнул я, – кончится безумным смятением!» – И я устремился к тому месту, где готовился фейерверк.

Князь сказал мне, чтобы я дал знак, когда все будет готово. Я не спускал глаз с облака, которое поднималось над Гейерштейном все выше и выше; когда мне показалось, что оно находится достаточно высоко, по моему приказанию грянула мортира! Через несколько секунд двор и все общество были на своих местах. После обычной смены ракет, светящихся кругов, огненных шаров и тому подобной материи, вспыхнул наконец вензель княгини, состоявший из китайских фонариков, но высоко над ним в бледном сиянии то выплывало, то снова скрывалось лучезарное имя «Юлия». «Пора», – сказал я себе, зажег жирандоли, и, едва только ракеты поднялись вверх, в тот же миг вспыхнули ослепительные молнии, грянул страшный гром и разразилась гроза, от которой дрогнули горы и лес. Ураган ворвался в парк и завыл во всех кустах, как тысячеголосое чудовище. Я выхватил из рук у одного из бежавших горнистов его трубу и заиграл на ней бешеную мелодию, в то время как артиллерийские залпы бураков, мортир и пушек гремели в ответ на оглушительные раскаты грома.

Пока мейстер Абрагам рассказывал, Крейслер вскочил со своего места, взволнованный ходил взад и вперед по комнате, размахивал руками и наконец воскликнул в полном восторге:

– Прекрасно, чудно, в этом я узнаю своего задушевного друга мейстера Абрагама!

– Я знаю, – проговорил мейстер Абрагам, – тебе по душе все дикое, все необычайное, но я совсем забыл рассказать еще об одной вещи, которая способна предать тебя совсем во власть таинственных сил мира духов. Я велел натянуть эолову арфу, которая находится, знаешь, над большим бассейном, и буря играла на ней, как отличнейший музыкант. Таинственные аккорды этого гигантского органа загадочно сливались с ревом бури и треском грома. Все быстрее и быстрее неслись друг за другом звуки, и можно было различить, что это фурии устроили балет грандиозного музыкального стиля, балет, какого никогда не услышишь и не увидишь среди театральных холщовых декораций.

Через полчаса все было кончено. Из-за облаков показался месяц. Среди испуганного леса проносился с ласковым шепотом ночной ветерок и осушал слезы, блиставшие на омраченных кустах. Время от времени раздавались звуки эоловой арфы, как умирающий звон далекого колокола. И странно, и чудно было у меня на душе. Так всецело я был полон тобой, Иоганн, что казалось, вот-вот ты восстанешь предо мной из могилы несбывшихся надежд, обманутых мечтаний, и я прижму тебя к груди своей. Теперь в тиши ночной я понял, какую я затеял игру, как я думал насильственно разорвать узел, завязанный темным роком, и мои собственные мысли предстали передо мной совсем в другом свете, как создания чуждого мне ума, и, полный трепета и душевного холода, я ужаснулся самому себе.

Множество блудящих огней плясало и прыгало кругом в парке, но это были только лакеи с фонарями, отыскивавшие шляпы, парики, кошельки, шпаги, башмаки и шали, утраченные в быстром бегстве. Я ушел прочь. На большом мосту, лежащем перед нашим городом, я остановился, чтоб еще раз оглянуться на парк: он был озарен магическим светом луны, точно заколдованный сад, в котором веселые эльфы начали свою воздушную пляску. Вдруг до моего слуха дошли какие-то жалобные звуки, какой-то пронзительный писк, точно плач новорожденного ребенка. Я заподозрил, что тут какое-нибудь преступление, низко наклонился через перила и при ярком лунном свете рассмотрел маленькую кошечку, которая с трудом цеплялась за перекладину, стараясь спастись от смерти. Вероятно, кто-нибудь хотел утопить целое семейство новорожденных котят, и вот один из них выкарабкался из воды. Ну, подумал я, хоть не ребенок, а только бедное маленькое животное умоляет тебя о помощи, ты должен его спасти.

– О, чувствительный Юст, – воскликнул со смехом Крейслер, – скажи, где же твой Телльгейм?

– Ну, нет, любезный Иоганн, – продолжал мейстер Абрагам, – вряд ли ты можешь сравнивать меня с Юстом. Я перегостил самого Юста. Он спас пуделя, животное, любезное каждому и способное даже оказывать услуги, если его научить подавать перчатки, табакерку и тому подобное; а я спас кота, животное, которого все ужасаются, которое считается всеми существом коварным, лишенным нежности и теплоты чувства и постоянно находящимся настороже по отношению к человеку, я спас его из чистой, бескорыстной жалости. Перебравшись через перила, я не без опасности для собственной жизни наклонился вниз, схватил котенка, который продолжал пищать, и спрятал его в карман. Вернувшись домой, я быстро разделся и, полный изнеможения, бросился на постель. Но едва только я заснул, как был разбужен жалобным писком и визгом, исходившим, по-видимому, из моего гардеробного шкафа. Я забыл о котенке и оставил его в кармане. Когда я освободил животное из заключения, оно в награду так оцарапало меня, что все мои пять пальцев покрылись кровью. Я было хотел выбросить котенка за окно, но опомнился и устыдился своей мелочности, своей мстительности, непростительной по отношению к созданию неразумному. Словом, я со всей тщательностью и бесконечными усилиями вырастил кота. Это самый остроумный, талантливый, исполненный ума экземпляр кошачьей породы, какой когда-либо можно было видеть; ему недостает только высшего образования, которое ты, любезный мой Иоганн, легко можешь преподать ему, вследствие чего я намерен предоставить отныне кота Мурра – так я его назвал, – твоему попечению, хотя Мурр в данное время еще не является тем, что юристы называет homo sui juris[9], все же я его спрашивал, согласен ли он пойти к тебе в услужение. Он вполне доволен моим предложением.

– Какой вздор ты болтаешь, мейстер Абрагам, – проговорил Крейслер. – Ты знаешь, что я терпеть не могу кошек и скорей предпочитаю собак.

– Милый Иоганн, я от всей души прошу тебя, возьми к себе моего кота Мурра, подающего такие большие надежды, приюти его хоть на то время, пока я не вернусь из своего путешествия. Я его уже привел с собой, он стоит в прихожей и дожидается ответа. По крайней мере взгляни на него.

С этими словами мейстер Абрагам раскрыл дверь. На соломенном коврике, свернувшись калачиком, спал кот, действительно красоты необыкновенной. Серые и черные полоски, идущие вдоль спины, сходились между ушами на темени и составляли на лбу какую-то живописную надпись иероглифами. Длинный красивый хвост его был также покрыт полосами и изгибался с необычайной энергией. Нарядное одеяние, полученное котом в дар от самой природы, пестрело и светилось под лучами солнца до такой степени, что между черным и серым цветом можно было рассмотреть еще узенькие, золотисто-желтые полоски. «Мурр, Мурр!» – воскликнул мейстер Абрагам. «Мрррр, мррр!» – едва слышно ответил ему кот, потом вытянулся, приподнялся, необыкновенно дивно выгнул свою спину и открыл серо-зеленые глаза, в которых искрились как пламя и ум, и гениальность. Так, по крайней мере, утверждал мейстер Абрагам. Крейслер с своей стороны должен был сознаться, что в физиономии этого кота есть что-то особенное, незаурядное, что голова его достаточно толста, чтобы вмещать в себя науки, а его борода уже теперь, в юности, бела и настолько длинна, что при случае кот Мурр может доставить себе авторитет греческого мудреца.

– Ну, можно ли везде спать, – обратился мейстер Абрагам к коту. – Благодаря сонливости ты утратишь живость характера и можешь преждевременно сделаться брюзгой. Принарядись, Мурр!

Кот тотчас же уселся на задние лапки, изящным движением пригладил себе лоб и щеки и испустил звучное, радостное «мяу».

---

[9] Правоспособность*(лат.)*.

– Вот, – продолжал мейстер Абрагам, – ты видишь пред собой капельмейстера Иоганна Крейслера, к которому ты поступишь в услужение.

Кот уставился на капельмейстера своими большими искрящимися глазами, начал мурлыкать, вскочил на стол, стоявший около Крейслера, а оттуда – без всяких церемоний – на его плечо, как будто хотел сказать ему что-нибудь на ухо. Потом он опять спустился на пол и обошел кругом своего господина, изгибая хвост и мурлыкая, как будто он точно хотел хорошенько с ним познакомиться.

– Скажите на милость, – воскликнул Крейслер, – я почти уверен, что этот маленький герой одарен человеческим разумом. Уж не происходит ли он по прямой линии от знаменитого Кота в сапогах!

– Во всяком случае, – ответил мейстер Абрагам, – верно, что кот Мурр – самое забавное существо во всем мире. Он настоящий полишинель, притом он вежлив и благонравен, скромен и ненавязчив, как порой собаки, которые своими неумелыми ласками надоедают нам.

– Смотрю я на этого мудрого кота, – воскликнул Крейслер, – и невольно делается мне грустно при мысли, как тесен и ограничен круг наших познаний. Кто может сказать, кто может предчувствовать, как велики умственные способности животных! Если нам что-нибудь или, вернее, все кажется недоступным исследованию, мы тотчас даем имя такому-то явлению и довольны, что наклеили ярлык, и кичимся своей пошлой школьной мудростью, которая не видит ничего дальше своего носа. Точно так же все умственные силы животных, нередко проявляющиеся самым удивительным образом, мы, недолго думая, окрестили названием инстинкта. Но я только хотел бы услыхать ответ на один вопрос: идея инстинкта, слепого, непроизвольного порыва, совместима ли со способностью грезить? Что, например, собаки предаются самым живым грезам, это знает каждый, кто наблюдал за спящей охотничьей собакой, переживающей в сонных грезах всю охоту; она ищет, она обнюхивает, двигает ногами, точно бежит изо всех сил, задыхается, обливается потом… Может ли грезить и видеть сны кот, я до сих пор не знал об этом ничего.

– Кот Мурр, – прервал своего друга мейстер Абрагам, – не только видит самые живые сны, но он, кроме того, нередко впадает и в самую сладкую мечтательность, в задумчивость, полную грез, в полубезумное состояние сомнамбулизма, короче, ему свойственно то особое состояние, которое не есть ни сон, ни бодрствование и которое у поэтических натур бывает временем зарождения и восприятия гениальных мыслей. В последнее время, когда он находится в таком состоянии, он ужасно стонет и охает, так что я думаю, что он или влюблен, или сочиняет трагедию.

Крейслер весело расхохотался и воскликнул:

– Ну, так пойдем же со мной, о мудрый, находчивый, остроумный, поэтически чувствующий кот Мурр, дай же нам по…

(М. прод.) …месяцах моей юности, – я должен рассказать еще многое. В высшей степени поучительно и полезно, если великий ум в собственной своей автобиографии говорит решительно обо всем, что с ним было в юности, даже о том, что кажется ничтожной мелочью. Потому что может ли быть что-нибудь, касающееся высокого гения, мелочью? Все, что он делал или чего он не делал в детстве, имеет чрезвычайную важность и проливает яркий свет на глубокий смысл, на тайное значение его бессмертных творений. Полный душевного огня юноша, которого мучают боязливые сомнения в достаточности его дарований, возрождается духом, когда читает, что такой-то великий человек в детстве играл в солдатики, объедался конфетами и нередко получал побои в наказание за лень, грубость и проказы. «Совсем как я, совсем как я!» – восклицает восхищенный юноша и не сомневается больше, что он также великий гений, несмотря на все величие обоготворяемого им кумира.

Многие читали Плутарха или хотя бы Корнелия Непота и воображали себя героями, многие читали переводы трагедий древних поэтов, а вместе с тем драмы Кальдерона, Шекс-

пира, Гете, Шиллера, и делались, если не великими поэтами, так по крайней мере маленькими милейшими поэтиками, столь любезными людям. Точно так же и мои произведения, наверное, зажгут светоч поэзии в груди одного юного, талантливого, чувствительного кота, и, если какой-нибудь благородный котенок возьмет с собою на крышу мою увеселительную автобиографию, если он проникнет вполне в высокие идеи книги, которая сейчас находится под моими когтями, он воскликнет тогда в восторге и воодушевлении: «Мурр, божественный Мурр! Единственный, величайший в своем роде, тебе и одному тебе обязан я всем! Только твой пример мог сделать меня великим!»

Достойно всяческой похвалы, что мейстер Абрагам в деле моего воспитания не придерживался ни забытого Базедова, ни педагогической методы Песталоцци, а предоставил мне полную свободу воспитываться, как я сам хочу; он требовал только, чтобы я держался некоторых нормальных принципов, на его взгляд, безусловно необходимых для общественной жизни, потому что иначе все бы смешалось в безумной толкотне и давке, где каждый постоянно получал бы толчки в бок и затрещины. Под нормальными принципами мейстер разумел естественную вежливость, как противоположность вежливости условной, заключающейся в том, что, когда человеку наступят на ногу или толкнут его, он должен говорить: «Простите, пожалуйста». Быть может, такая вежливость и нужна людям, но я не могу понять, для чего она может быть нужна нашему вольнолюбивому роду, и если свобода моей воли иногда нарушалась и мейстер прибегал к фатальному березовому пруту для внушения мне нормальных принципов, так я с полным правом могу сетовать на суровость моего воспитателя. Я убежал бы от него, если бы не был прочно к нему привязан моей врожденной страстью к высшему образованию. Чем выше образование, чем выше культура, тем ограниченнее свобода; это глубокая мысль. С образованием растут потребности, с потребностями… ну, словом, как раз от немедленного удовлетворения некоторых естественных потребностей прежде всего отучил меня мейстер Абрагам своим роковым прутом, заставив удовлетворять их в определенное время и в определенном месте. Потом он принялся за мои прихоти, которые, как я позднее убедился, есть не что иное, как результат ненормального душевного состояния. Такое-то странное состояние, бывшее, может быть, действием физической стороны моего организма, побуждало меня оставлять нетронутым молоко и даже жаркое, которое давал мне мейстер, вскакивать на стол и лакомиться теми кушаньями, которые были предназначены для него самого. Познавши силу березового прута, я оставил такие проделки.

Вижу теперь, что мейстер был прав, отклоняя от них мои чувства, так как знаю, что многие из моих добрейших собратьев, будучи менее культивированы и менее благовоспитаны, чем я, попадали через это самое в ужасно неприятные положения, в положения, иногда делавшиеся горем целой жизни. Мне известно, например, что один молодой котенок, подававший большие надежды, благодаря недостатку в нравственной силе, не мог противостоять искушению полакомиться горшком молока и должен был поплатиться потерей хвоста, после чего, преследуемый насмешками и остротами, он принужден был удалиться в иночество. Итак, мейстер был прав, отучая меня от моих проделок, но я никак не могу ему простить, что он противился моему стремлению совершенствоваться в науках и искусствах.

Ничто так не привлекало моего внимания в комнате мейстера, как письменный стол, весь заваленный книгами, рукописями и разными странного вида инструментами. Могу сказать, что этот стол был для меня чем-то вроде заколдованного круга, в котором я чувствовал себя заключенным; и в то же время я испытывал перед ним какой-то священный трепет, мешавший мне всецело предаться моему порыву. Наконец, однажды – именно в отсутствие мейстера – я поборол свой страх и вскочил на стол. О, какое блаженство испытывал я, сидя на нем и роясь среди книг и бумаг! Не шаловливость, о нет, лишь умственный жар, жажда знания, вот что заставило меня схватить в когти один из манускриптов и теребить его вдоль и поперек до тех пор, пока наконец он не лежал передо мной весь изодранный в мельчайшие клочки.

Вдруг вошел мейстер, увидел все происшедшее и с оскорбительным возгласом: «Проклятая бестия!» – устремился на меня; он бил меня березовым прутом так жестоко, что я, визжа от боли, заполз под печку и целый день не выходил оттуда, невзирая ни на какие ласковые слова и увещания. Кого такое событие не отпугнуло бы навсегда даже от пути, предназначенного для него природой? Но как только я вполне оправился от своей боли, я тотчас же, следуя непобедимому внутреннему порыву, опять вскочил на письменный стол. Правда, единственного возгласа моего господина, какой-нибудь коротенькой фразы «Да он опять!» было достаточно, чтобы согнать меня со стола, прежде чем я приступил к штудированию; но я спокойно стал ждать благоприятного момента, когда бы опять можно было заняться изучениями, и скоро дождался. Мейстер однажды собирался уходить из дому. Вспомнив о разорванной рукописи, он хотел выгнать меня из комнаты, но я тотчас спрятался так ловко, что он не смог меня найти. Едва только мейстер ушел, я одним прыжком вскочил на его письменный стол и лег среди рукописей, весь исполненный неизъяснимого восторга. С большим искусством я раскрыл лапкой толстую книгу, находившуюся передо мной, и попробовал разобрать в ней письменные знаки. Сперва я решительно ничего не понял, но продолжал смотреть в книгу, ожидая, что ко мне слетит какой-нибудь совсем особенный дух и научит меня читать. В этом состоянии глубокого внимания я был застигнут мейстером. С громким криком «Ах, ты, проклятое животное!» он опять устремился ко мне. Спасаться было уже поздно, я прижал уши, съежился, как только мог, и уже чувствовал за спиной прут, но вдруг приподнятая рука мейстера остановилась, он разразился громким смехом и воскликнул: «Ах, кот, да ты читаешь! Ну за это я не хочу тебя бранить. Посмотрите-ка, однако, какая у него жажда образования!»

Он вытащил из-под моих лапок книжку, посмотрел на ее заглавие и начал хохотать еще громче. «Ну, – продолжал он, – я должен допустить мысль, что у тебя есть карманная библиотечка, потому что я никак не могу понять, откуда и каким образом попала эта книга на мой письменный стол. Читай, читай, Мурр, штудируй прилежно, важнейшие места в книге ты можешь отмечать, слегка поцарапав на полях когтями, это я тебе вполне разрешаю».

С такими словами он снова подсунул мне книгу, которая, как я узнал впоследствии, была сочинением Книгге «Об обращении с людьми». Из этой прекрасной книги я почерпнул много житейской мудрости. Мысли, изложенные в ней, точно вылились из моего собственного сердца; они, вообще, ужасно пригодны для кота, желающего играть в человеческом обществе какую-нибудь роль. Именно эта тенденция книги, сколько мне известно, до сих пор ускользала от внимания читателей, и потому иногда высказывалось ложное суждение, что человек, который будет вполне сообразовываться с изложенными в книге правилами, по необходимости будет всегда тупым, бессердечным педантом.

С этих пор мейстер не только терпел меня на своем письменном столе, но охотно даже видел, как я иногда во время его занятий вспрыгивал на стол и ложился среди бумаг.

Мейстер Абрагам имел привычку громко читать вслух. Я всегда располагался при этом таким образом, что мог смотреть в книгу, которую он читал; так как природа снабдила меня зоркими глазами, я мог устраивать это, не причиняя никакого беспокойства моему господину. Сравнивая слова, которые он произносил, с письменными значками, стоявшими в книге, я в короткое время научился читать; кому это покажется невероятным, тот, очевидно, не имеет никакого понятия о совершенно особенном даровании, которым меня наделила природа. А гении, меня понимающие и ценящие, не будут питать никакого сомнения относительно способа образования, который, быть может, одинаков с их собственным. Не упускаю при этом случая сообщить достопримечательное наблюдение, сделанное мною относительно приобретенного дара понимания человеческой речи. Именно я с полным сознанием наблюдал, что сам я решительно не знаю, как я достиг такого понимания. У людей замечается тот же факт; но я, впрочем, и не удивляюсь, потому что эта порода в годы детства гораздо глупее и беспомощнее нас. Даже в то время, как я был совсем маленьким котенком, со мной никогда не случалось,

чтобы я царапал свои собственные глаза, хватался за горящую свечку или ел сапожную ваксу вместо вишневой пастилы, что почти всегда случается с маленькими детьми.

Когда я теперь научился хорошо читать и ежедневно набивал себя чужими мыслями, я почувствовал неудержимый порыв извлечь из неизвестности и свои собственные мысли, рожденные присущим мне гением, но прежде нужно было, конечно, научиться трудному искусству писанья. Как внимательно ни следил я за рукой моего господина, когда он писал, мне не удавалось открыть, в чем собственно заключается тут вся механика. Я штудировал старого Хильмара Кураса, единственные прописи, найденные мною у мейстера; мне пришло на ум, что загадочная трудность писанья может быть уничтожена только большими манжетами, в которые одета обыкновенно пишущая рука, и что только особенная усовершенствованная ловкость позволяет моему воспитателю писать без манжет, подобно тому, как опытный канатный плясун в конце концов научается обходиться без балансирного шеста. Я страстно жаждал манжет и намеревался разорвать ночной чепчик старой экономки и приспособить его для моей правой лапки, как вдруг в один из моментов вдохновения, как бывает всегда с великими умами, меня осенила гениальная мысль, решившая все. Именно: я догадался, что моя неспособность держать перо или карандаш так, как держит мейстер, с полным вероятием заключается в различном строении наших рук, – и догадка моя оправдалась. Я должен был изобрести новый способ писанья, свойственный строению моей правой лапки, – и действительно изобрел, как и следовало ожидать. Таким-то вот образом из особой организации индивидуума проистекает создание новых систем.

Другое пренеприятное затруднение состояло в обмакивании пера в чернильницу. Именно мне никак не удавалось при обмакивании уберечь свою лапку: всегда она вместе с пером попадала в чернильницу; естественным следствием этого было то, что первые строки, более созданные самой лапкой, нежели пером, были несколько велики и широки. Люди несведущие могут потому счесть мои первые манускрипты просто-напросто бумагой, испачканной пятнами чернил. Но люди гениальные легко угадают гениального кота и в его первых произведениях, они будут удивляться, они будут совершенно вне себя от изумления при виде этой глубины, этой силы духа, брызжущего из первичного неиссякаемого источника.

Для того чтобы потомки не стали со временем спорить между собой о хронологическом порядке моих бессмертных произведений, я заявляю здесь, что прежде всего я написал философско-сентиментально-дидактический роман «Мысль и предчувствие, или Кот и Собака». Уже это одно произведение могло бы доставить мне большую репутацию. Потом, усовершенствовавшись в разных отношениях, я написал политическое сочинение под заглавием «О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и энергию в сфере кошачьего общества». Затем, вдохновившись, я написал трагедию «Крысиный король Кавдаллор». И эта трагедия также могла бы бесчисленное количество раз и при самом шумном одобрении публики играться во всевозможных театрах. Полное собрание моих сочинений должно начаться этими созданиями моего высокого ума; о том, что меня побудило их написать, будет сообщено в надлежащем месте.

Когда я научился лучше держать перо, когда лапка моя перестала пачкаться чернилами, – и стиль мой сделался более легким, изящным и грациозным; в особенности я увлекся «Альманахом муз», писал разные дружеские послания и быстро сделался тем любезным, приятным мужчиной, каким и теперь продолжаю быть. Тогда же я совсем было написал эпическую поэму в двадцати четырех песнях, но, в то время как я совсем ее кончил, случилось нечто, за что Тассо и Ариост должны в своих гробах благодарить небо. Потому что, выйди из-под моих когтей вполне законченной эта поэма, никто не стал бы читать ни того ни другого.

Я приступаю теперь к…

(Мак. л.) …для лучшего уразумения необходимо, однако, ясно изложить тебе, благосклонный читатель, весь ход дела.

Всякий, кто хоть раз останавливался в гостинице прелестного, хотя захолустного городка Зигхартсвейлера, тотчас слышал что-нибудь о князе Иренее. Если, например, приехавший заказывал себе блюдо форелей, которые отличаются в этой местности доброкачественностью, хозяин гостиницы тотчас же говорил: «И отлично делаете, милостивый государь, что спрашиваете это блюдо! Наш светлейший князь чрезвычайно охотно ест форелей, и я приготовлю эту вкуснейшую рыбу именно так, как принято при дворе». Но образованный путешественник из всех учебников географии, карт и статистических сочинений знает только одно: городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и окрестностями давным-давно принадлежит великому герцогству, поэтому он немало должен удивляться, что здесь есть владетельный князь и двор. Но дело вот в чем. Во владении князя Иренея, действительно, находился раньше недалеко от Зигхартсвейлера небольшой клочок земли: с бельведера замка, находящегося в княжеской резиденции, Иреней мог осматривать земли всего своего государства; понятно, что он всегда имел, так сказать, перед глазами и блага, и несчастия своих подданных. В любое время он мог знать, хорошо ли произрастает пшеница у какого-нибудь Петера в отдаленнейшем уголке его страны, мог отлично наблюдать, прилежно ли ухаживают Ганс и Кунц за своими виноградниками. Говорят, что во время одной прогулки за границу князь Иреней выронил свою страну из кармана; верно ли это – неизвестно, но несомненно, что в новых изданиях карты великого герцогства – владеньица князя Иренея были зарегистрованы и включены в пределы этого герцогства. С князя были сняты хлопоты по управлению, и из доходов его страны был сделан ему богатый выдел, который он должен был тратить именно в прелестном городке Зигхартсвейлере.

Кроме того, у князя Иренея были еще значительные наличные средства, оставшиеся в неприкосновенном виде; таким образом, князь из маленького регента сделался вдруг видным частным человеком, который свободно, без всякой помехи мог устраивать свою жизнь как ему угодно.

Князь Иреней слыл за человека образованного, с тонким вкусом к науке и к искусству. Нужно прибавить к этому, что он не раз сетовал на несносные тягости и хлопоты, связанные с регентством и, говорят, однажды выразил в изящных стихах романтическое желание вести идиллический образ жизни procul negotiis[10], в какой-нибудь маленькой хижине над журчащим ручьем, по берегам которого расстилаются пастбища. Благодаря всем таким обстоятельствам можно было думать, что он совсем забудет о роли владетельной особы и устроится уютно и комфортабельно, как только может устроиться богатый, независимый частный человек. На самом деле все вышло совсем иначе.

Часто бывает, что любовь той или другой владетельной персоны к искусству и науке является только составной частью и декорумом придворной жизни. Приличие требует приобретать картины, слушать музыку и заставляет придворного переплетчика без устали одевать в золото и шагрень произведения новейшей литературы. Но раз придворная жизнь прекращается, естественно, и ее декорум уничтожается вместе с ней.

Князь Иреней сохранил и то и другое: и придворную жизнь, и любовь к искусствам и наукам, осуществив лучший сон своей жизни, в котором он сам фигурировал вместе со своими близкими, равно как вместе со всем городком Зигхартсвейлером.

Он устроил свою жизнь так, как будто он продолжал быть владетельным князем, сохранил полный придворный штат, государственного канцлера, совет министерства финансов, раздавал ордена, делал приемы, давал придворные балы, на которых по большей части бывало человек двенадцать – пятнадцать, но на которых этикет соблюдался гораздо строже, чем при самых больших дворах. Горожане были достаточно добродушны и охотно поддерживали честь, достоинство и весь мишурный блеск этого мнимого двора. Таким образом, например, добрейшие жители городка называли князя Иренея «ваша светлость»; в дни тезоименитства его или

[10] «Удалившись от дел»*(лат.)*.

кого-нибудь из его семьи устраивали в городе иллюминацию, и вообще охотно жертвовали всем для удовольствия двора, подобно афинским гражданам в шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь».

Нельзя отрицать, что князь исполнял роль свою с самым внушительным пафосом и умел передавать этот пафос всем окружающим. Так, например, является как-нибудь в клуб член министерства финансов, он мрачен, молчалив, весь сосредоточен в себе. Чело его точно окутано тучами, нередко он погружается в глубокую задумчивость, потом вздрагивает и выпрямляется, как будто пробуждаясь от сна. К нему еле решаются подходить, в его присутствии не осмеливаются громко говорить. Бьет девять часов, он вскакивает со своего стула, берет шляпу, и тщетны старания всех удержать его: с гордой, многозначительной улыбкой он уверяет, что его ждут кипы бумаг, что ему придется просидеть всю ночь для того, чтобы подготовиться к завтрашнему чрезвычайно важному последнему четвертому заседанию Совета; поспешно удаляясь, он оставляет все общество в почтительном, немом изумлении пред безмерной важностью и трудностью его деятельности. А что же это за важный доклад, к которому несчастный труженик должен приготовиться за ночь? Он должен составить список белья, отдававшегося в стирку во всем департаменте за истекшую четверть года, подававшихся кушаний, сшитых заново платьев и тому подобное; соединив все это в целый доклад, он прочтет его в комиссии по вопросу о стирке белья.

Точно так же весь город жалеет, например, беднягу-вагенмейстера, наказанного княжеской коллегией, но в то же время каждый охвачен и подавлен возвышенным пафосом коллегии и восклицает: «Строго, но справедливо!» Дело в том, что вагенмейстер, сообразно с полученной инструкцией, продал коляску, негодную для употребления, и министерская коллегия предписала ему в течение трехдневного срока выяснить, под страхом немедленной отставки, куда он девал другую, непроданную, половину коляски, быть может, еще пригодную к употреблению.

Особым светилом, сиявшим при дворе князя Иренея, была советница Бенцон, вдова лет за тридцать с лишком, но красоты увлекательной и все еще не лишенная грации, – единственная особа, дворянство которой было сомнительно и которую, однако, князь раз и навсегда приблизил ко двору. Светлый, проницательный ум советницы, ее придворная живость, ее светский такт, а главным образом, известное хладнокровие, необходимое для господства над собственным талантом, имели полную, неотразимую власть над всеми, так что именно она была главной двигательной пружиной в кукольном театре этого миниатюрного двора. Дочь ее, Юлия, выросла вместе с принцессой Гедвигой. И даже на умственное развитие этой последней советница повлияла в такой степени, что она была как бы чужой в кругу княжеской фамилии и не имела совершенно ничего общего с своим братом. Принц Игнац был, в противоположность сестре, как бы осужден на вечное детство и почти заслуживал названия тупоумного.

Наряду с госпожой Бенцон, таким же влиянием, таким же полным проникновением в самые деликатные отношения княжеской семьи обладал – хотя совсем в другом смысле – тот странный человек, которого ты, благосклонный читатель, уже видел как maître de plaisir[11] княжеского двора и как полного иронии чародея.

Крайне достопримечательна история вступления мейстера Абрагама в княжескую фамилию.

Блаженной памяти папаша князя Иренея был человек простой и кроткий. Он увидал, что малейшее проявление жизненных сил должно совсем разрушить слабый организм государственной машины, вместо того чтобы побудить ее к лучшему действию. Руководствуясь этим, он оставил положение дел страны в прежнем порядке, и, если у него не было случая выказать блестящий ум или другие какие-нибудь дары Неба, он ограничился, по крайней мере, тем, что

[11] Устроитель празднеств*(фр.)*.

в его княжестве каждый чувствовал себя хорошо, а что касается сношений с другими государствами, так в этом случае его страна напоминала женщину: чем меньше про нее говорят, тем свободнее она от недостатков. Если маленький двор князя отличался чопорностью и церемонностью, если князь совсем не мог свыкнуться с некоторыми вполне лояльными идеями, выработанными новым временем, вина этого заключалась в обер-гофмейстере, гофмаршалах и камергерах, которые всеми силами старались сохранить невозмутимость стоячей воды. Но было одно обстоятельство, с которым не могли бороться никакой гофмейстер, никакой маршал, – именно прирожденная склонность князя ко всему загадочному, странному, необычайному.

По примеру калифа Гарун аль-Рашида он имел иногда обыкновение переодетым обходить город и деревни, чтобы дать удовлетворение или хоть некоторую пищу этой склонности, находившейся в странном противоречии с другими его тенденциями. Он надевал в таких случаях круглую шляпу и серое пальто, так что каждый с первого взгляда видел, что князя теперь не нужно узнавать.

Случилось однажды, что переодетый таким образом князь, пройдя неузнанным всю аллею, ведущую от замка к одной из отдаленнейших местностей, дошел до уединенного домика, в котором жила вдова главного княжеского повара. Как раз перед самым домиком князь увидел двоих незнакомцев, закутанных в плащи и спешивших к выходу. Он прошел в сторону, и историограф княжеской фамилии, у которого я заимствую этот факт, утверждает, что князь был бы неузнан и незамечен даже в том случае, если бы он вместо серого пальто надел самое блестящее форменное платье, украшенное искрящимися орденами, – по той простой причине, что тогда был совершенно темный вечер. Когда оба незнакомца, закутанные в плащи, медленно проходили мимо князя, он вполне явственно услыхал следующий разговор. Один сказал: «Прошу тебя, сиятельный братец, смотри хорошенько, чтобы не быть на этот раз ослом! Вы должны с ним покончить, прежде чем князь успеет узнать от него что-нибудь, потому что иначе проклятый колдун насядет нам на шею и совсем погубит нас своими сатанинскими чарами». Другой ответил: «Mon cher frère[12], не волнуйся так, не горячись, ты знаешь мою sagacite, мою savoir faire[13]. Я завтра разделаюсь с ним по-своему, и пусть тогда он показывает где хочет свои экспонаты… Здесь, во всяком случае, он оставаться не может. Князь, кроме того, порядо…» Голоса замолкли, и князь не мог узнать, чем считает его собственный гофмаршал, так как никто иной, а именно гофмаршал и брат его, обер-егермейстер, были этими лицами, вышедшими из дома и разговаривавшими так странно и загадочно.

Князь узнал их обоих по голосу. Легко представить себе, что князю пришло самое естественное желание отыскать этого опасного колдуна, от знакомства с которым хотели его предохранить. Он постучался в дверь домика, вдова вышла на порог, держа в руках свечу, и, увидав круглую шляпу и серое пальто князя, спросила с холодной вежливостью:

– Что вам угодно, monsieur?[14]

Когда князь подходил к кому-нибудь переодетый и неузнаваемый, ему всегда говорили monsieur.

Князь осведомился о чужестранце, который должен был находиться у вдовы; он оказался не кем иным, как чрезвычайно сведущим, ловким, знаменитым фокусником, снабженным целой кучей аттестатов, грамот и привилегий и желающим познакомить местную публику со своими чарами.

---

[12] Мой дорогой брат*(фр.)*.

[13] Мою мудрость, мою ловкость*(фр.)*.

[14] Сударь*(фр.)*.

– Только что здесь были, – рассказывала вдова, – два придворных господина. Он им показывал какие-то необъяснимые вещи, которые привели их в такое изумление, что они ушли отсюда смущенные, бледные, совершенно вне себя.

Недолго думая, князь велел провести себя к нему. Мейстер Абрагам (а это был именно он) принял его как человека, которого он уже давно ждал, и, как только князь вошел, тотчас же затворил за ним дверь.

Никто не знает, какие фокусы показывал князю Иренею мейстер Абрагам, известно только одно: князь пробыл с ним целую ночь, а на другое утро в замке были приготовлены комнаты, которые занял мейстер Абрагам и в которые князь посредством потаенного хода мог незамеченным проникать из своего кабинета. Известно также еще, что отныне князь не называл уже больше гофмаршала mon cher ami[15] и никогда больше не заставлял обер-егермейстера рассказывать волшебную охотничью историю о белом рогатом зайце, которого он (обер-егермейстер) не мог застрелить во время первой своей охотничьей экскурсии в лесу. Это обстоятельство повергло обоих братьев в печаль и отчаяние и в скором времени вынудило их оставить двор. Известно, наконец, и то, что мейстер Абрагам стал приводить в изумление двор, город и сельских жителей не только своими фантасмагориями, но также и тем уважением, которое он все более и более внушал князю.

О фокусах мейстера Абрагама упомянутый историограф княжеской фамилии рассказывает столько невероятных вещей, что нет возможности все их передать, не оскорбляя доверия благосклонного читателя. Самым удивительным фокусом, который, по мнению историографа, достаточно ясно доказывает очевидную и преступную связь мейстера Абрагама с невидимыми темными силами, является акустическая трагедия, позднее обратившая на себя большое внимание и сделавшаяся известной под названием «Невидимой девицы». Фокус этот уже в то время не раз был показываем мейстером Абрагамом с таким богатством фантазии, загадочности и захватывающего интереса, с каким его больше никогда никто не показывал.

Наряду со всем этим поговаривали, что и сам князь, вкупе с мейстером Абрагамом, стал предпринимать различные магические операции относительно их цели между придворными дамами, камергерами и другими лицами, причастными ко двору, возник приятный спор, исполненный самых нелепых, бессмысленных догадок. Все, впрочем, были согласны в одном: мейстер Абрагам научил князя приготовлять золото, о чем можно было судить по дыму, проникавшему иногда из лаборатории, и что он ввел его во всяческие необходимые для подобных целей конференции духов. Далее, все были твердо убеждены, что теперь князь, прежде чем выдавать патент новому бургомистру местечка или назначать прибавку жалованья придворному истопнику, стал всегда советоваться с созвездиями или с демоном Агатоном, который со спиритами обходится запросто.

[15] Мой милый друг*(фр.)*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.